

Александр Степанович Грин

Человек с человеком



Александр Степанович Грин

Человек с человеком

Текст предоставлен издательством «Эксмо»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172483

Грин Александр. Романы. Рассказы: Эксмо; Москва; 2008

ISBN 978-5-699-28577-8

Аннотация

«— Эти ваши человеческие отношения, — сказал мне Аносов, — так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли — настоящее, пока доступное счастье.

Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником...»

Содержание

I	14
II	23
III	27
IV	36
V	44
VI	48

Александр Грин

Человек с человеком

– Эти ваши человеческие отношения, – сказал мне Аносов, – так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли – настоящее, пока доступное счастье.

Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником.

Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний; знакомство наше состоялось случайно, у станционного буфета. Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания: с длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными, большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику полуулыбкой, он производил впечатление человека незаурядного, или, как говорят в губерниях, – «заинтриговывал». Ему, вероятно, было лет пятьдесят – пятьдесят пять, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе.

– Да, – продолжал Аносов медленным своим низким голосом, смотря в окно и поглаживая бороду большой белой ру-

кой с кольцами, – жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вожелений, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или – что еще хуже – благородства самодовольного; терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь, или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано «инстинктивной антипатией», – нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток чужих волей стремится покорить, унижить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи; он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и целно. Полезно быть также человеком миропрития языческого или, преследуя отдаленную цель, поставить ее меж собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков, противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь острого болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу вымотришь и поймешь такого. Большинство их гибнет, или ожесточается, или уходит.

– Да, это закон жизни, – сказал я, – и это удел слабых.

– Слабых? Далеко нет! – возразил Аносов. – Настоящий слабый человек плачет и жалуется оттого, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке, так

как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я, – люди – увы! – рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них – источник постоянных страданий, а сознание, что зло, – как это ни странно, – естественное явление, усиливает страдание до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся областей духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия, людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла.

Я немного поспорил, доказывая, что зло – понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с Аносовым, хоть не во всем, – так, например, я думал, что таких людей нет.

Он выслушал меня внимательно и сказал:

– Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что «добро» – понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые; это ничего, так как нам помогает ассоциация и около двух коротеньких слов кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим особенным людям. Частица их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеют большой успех, и успех чистый, такие произведения, как Робинзон Крузо, –

что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого слита в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление Пятницы ослабляет интерес повести; своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уже не Робинзон только; он делается «Робинзон-Пятница». Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент – вы – не вы, как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь и кто ничтожной, но ужасной властью случайного движения – усмешкой, пожатием плеч, жестом руки – может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой невероятной зависимости друг от друга живут люди, и, если бы они вполне сознали это, без сомнения слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными; действиями думающего человека.

Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке, в лугах; девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем; кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владельцев острова, что им здесь очень хорошо и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как

они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии: они стояли у воды, держась за руки, в траве, и шурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях.

Он наклонился ко мне, как бы выпрашивая взглядом, что я об этом думаю.

– Меня интересует, – сказал я, – возможна ли защита помимо острова и монастыря.

– Да, – не задумываясь, сказал Аносов, – но редко, реже, чем ранней весной – грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. «Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя-Софии, – говорит легенда, – священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором». Это – легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их.

Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум.

Аносов сказал:

– Кое о чем хотелось бы рассказать вам. А может быть, вы мало интересуетесь этой темой?

– Нет, – сказал я, – что может быть интереснее души человеческой?

– В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими не имеющими ночлега людьми полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен.

Подремывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решился и, – не скрою, – заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками.

У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился, но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем.

Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный.

– Обождите немного, – сказал он, – я хочу поговорить с вами. Разочарованы?

– Нет.

– Голодны?

– Очень голоден.

– Давно?

– Да... два дня.

– Пойдемте со мной.

В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись, я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный, грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша.

– Не удивляйтесь, – сказал он, кончив смеяться. – Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег.

– Да, на свете, но не у меня же.

– Возьмите.

– Я не могу найти работы.

– Просите.

– Милостыню?

– О, глупости! Милостыня – такое же слово, как все другие слова. Пока нет работы, просите – спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны – просящий и дающий, и воля дающего останется при нем – он

может дать или не дать; это простая сделка и ничего более.

– Просите! – с горечью повторил я. – Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу.

– Конечно.

– О чем же вы говорите тогда?

– Не обращайтесь внимания.

Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретила женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин; я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами; так это и было.

Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол (собака сидела тут же, на полу) и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель.

– Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины – лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое – одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем

мало – в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Гадара; «К Анне» – Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, – нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.

– Эгоизм или не эгоизм, – сказал я, – но к этому нужно прийти.

– Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.

И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!

1913 г.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД

I

Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, – состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изошрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших

проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии – весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, этаким смешливым субъектом со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка», – говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как спустя недолгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений. Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформности ее электризирующих прикосновений, – тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракт-

циями, существует впечатление на расстоянии, особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая в силу условий века явлением заурядным. Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное, – некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются по преимуществу меж близкими или много думающими друг о друге людьми, примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому – достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простирается на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы; раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса, иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы признать) агенты *малоисследованные*, – расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчела в улье слышит гул роя, но это – вне свидетельских показаний, и я, например, не мог спросить у населения Тонкина, не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-единственной, непохожей на остальные, минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую за-

висимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изощренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекали стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы; я встретил ее в Кассете, ее родине, – в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал об ее сердце больше, чем обо всем остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть являлась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом уже негодным и узким – любовью, нет; радостное, жадное внимание – вот настоящее имя свету, зажженному Визи. Свет этот в красном аду сознания блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно,

свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил – не я ли Галиен Марк. Голос его звучал сухо и подозрительно. Я сказал: «Да».

– А я – Гуктас! – громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки. Я видел, что этот человек хочет ссоры, и знал почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изобличающая деятельность партии Осеннего Месяца. Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье.

– Теперь я вас накажу. – Он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами. – Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить!

Он замахнулся, но я схватил его мясницкую руку и погнул ее вниз, смотря прямо в прыгающие глаза противника. Гуктас, задыхаясь, вырвался и отскочил, пошатнувшись.

– Ну, – сказал он, – так как?

– Да так.

– Где и когда?

– По прибытии в Херам.

– Я буду вас караулить, – заявил Гуктас.

– Караульте, я ни при чем. – И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами.

Дикое ярмарочное любопытство прочел я во многих холерных и тонких лицах: пахло убийством.

Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда и ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности, опасной ее спокойствию. Я не был возбужден, по крайней мере наружно, не суетился и владел голосом как безупречный артист; я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора. И все-таки, немного спустя, я услышал ее глухой, сердечный голос:

– Что случилось с тобой?

Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный оттенок взгляда, рассеянное движение рук, напряженные паузы или еще что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твердо лгать.

– Не понимаю, – сказал я, – почему «случилось»? И что?

Затем я продолжал разговор, спрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени на воде синих озер, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную, живую белизну рук, – но думал: «Нет, не в последний» – и простота этого утешения закрывала будущее.

– Завтра утром мы будем в Хераме, – сказала перед сном Визи, – а я, не знаю почему, в тревоге; все кажется мне неверным и шатким. – Она рассмеялась. – Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я.

– Я не хочу жизнерадостной, простой девушки, – сказал я, – поэтому ты усни. Скоро и я лягу, как только придумаю заглавие статье о процессиях, которые ненавижу.

Когда Визи уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей, от меня, сидящего здесь же рядом, и начал его словом «Прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти.

Но – о благодетельная сила вековой аллегии! – смерть явилась передо мной в картинно нестрашном виде – скелетом, танцующим с длинной косой в руках, и с такой старой, знакомой гримасой черепа, что я громко зевнул. Мое пробуждение, несмотря на это, было тревожно резким. Я вскочил с полным сознанием предстоящего, как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок – в иллюминаторе мелькал берег Херама; солнце билось в стекло, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи.

Она не проснулась. Оставив на столе записку: «Скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу» – поднялся на яркую палубу, где у сходни встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланялись со мной, я же попросил двух, наиболее понравившихся мне лицом пассажиров, – быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в фаэтон, и мы направились к роще Заката, по ту сторону города. Про-

тивник мой ехал впереди, изредка оборачиваясь; глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы. Утро явилось в тот день отменно красивым; стянув к небу от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдаль, над воздушной синевой гор, в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежды земли. От белых камней в желтой пыли дороги лежали темно-синие тени, палый лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишневого, устилал блистающую росой траву. Черные стволы, упавшие над зеркалом луж, давали отражение удивительной чистоты; пышно грустили сверкающие, подобно иконостасам, рощи, и голубой взлет ясного неба казался мирным навек.

Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший, однако, жадности зрительского любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились хаотическим водопадом, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные *точки зрения*, из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда, остановить их борьбу, как всегда, не мог направить сознание к какой бы то ни было несложной величине; против

воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова: «Убийство» и «Небо». В несчастной голове моей воистину заседал призрачный безликий парламент, истязая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под ребрами, я спросил себя: «Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень, очень устал...», но не почувствовал возмущения. Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я в уровень с глазом дорогой тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка, наверняка. «Раз, два, три!» – крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову; из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания.

II

Когда я пришел в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы (Визи не любила электричества) придвинутое к постели кресло, а в нем заснувшую, полураздетую женщину: ее лицо показалось мне знакомым и, застояв от резкой головной боли, я приподнялся на локте, чтобы лучше рассмотреть ту, в которой с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких, пока что, соображений о причинах метаморфозы, и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего, сосредоточенного лица. Меня продолжало занимать само по себе то, к чему первому обратилось внимание.

Само по себе— я, следовательно, думал о пустяках, о внешности, и так пристально, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице Визи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на колене, стала тонкой по-детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжело и, может быть, долго болен. «Да, долго», — подтвердил снег, белевший сквозь черноту стекла, в тишине ночной улицы. Голове было непривычно тепло, подняв руку, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль.

– Прелестно! – сказал я с некоторым совершенно необъяснимым удовольствием по этому поводу и щелкнул слабыми пальцами. Визи «выходила» меня, я, видел это по изнуренности ее лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на трех часах. Будильники – эти палачи счастья – не покупались никогда ни мной, ни Визи, и нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах, разумеется, означала часы ночи. Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности: наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась обеспокоить мою особу, – больную, подстреленную, жалкую; я покачал головой.

Прошло очень немного времени, пока я обдумывал, по странному уклону мысли, способности Ильи-пророка вызывать гром, как очень короткий нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал: «Визи, ты видишь, что я здоров», – и она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движения; уже не испуг, а крупные горячие слезы блестели в ее ярких глазах. Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно.

– Милый Галь, ложись, – просила она, слабо, но очень настойчиво, подталкивая меня к кровати. – Теперь я вижу, что

ты спасен, но еще нужно лежать до завтра, до доктора. Он скажет...

Я лег, несколько не потревоженный ее радостью и волнением. Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке и горизонтально своему положению. Визи села у изголовья, рассказывая обо мне, и я увидел в ее рассказе человека с желтым лицом, с красными от жара глазами, срывающего с простреленной головы повязку и болтающего различный вздор, на который присутствующие отвечают льдом и пилюлями. Так продолжалось месяц. Сложное механическое кормление я представил себе дождем падающих в рот пирожков и ложек бульона. Визи, между прочим, сказала:

– У меня было одно утешение в том случае, если бы все кончилось печально: что я умру тоже. Но ты теперь не думай об этом. Как долго я не говорила с тобой! Спокойной ночи, милый, спасенный друг! Я тоже хочу спать.

– Ах, так!.. – сказал я, немного обиженный тем, что меня оставляют, но в общем непривычно довольный. Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня. «Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительнее, вообще, женщины, то все обстоит благополучно и правильно. – Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: – Я снисходительно-справедливый мужчина». В еще больший восторг привели меня некоторые предметы, попав-

шиеся мне на глаза: стенной календарь, корзинка для бумаги и лампа, покрытая ласковым зеленым абажуром. Они бесповоротно укрепили счастливое настроение порядка, господствующего во мне и вокруг меня. Так хорошо, так покойно мне не было еще никогда.

– Чудесно, милая Визи! – сказал я. – Я решительно ничего не имею против того, чтобы ты заснула. Отправляйся. Надеюсь, что твоя бдительность проснется в нужную минуту, если это мне понадобится.

Она рассеянно улыбнулась, не понимая сказанного, – как я теперь думаю. Скоро я остался один. Великолепное настроение решительно изнежило, истомило меня. Я уснул, дрыгнув ногой от радости. «Мальчишество», – скажете вы. О, если бы так!

III

Через восемь дней Визи отпустила меня гулять. Ей очень хотелось идти со мной, но я не желал этого. Я находил ее слишком серьезной и нервной для той благодати чувств, которую отметил в прошлой главе. Переполненный беспричинной радостью, а также непривычной простотой и ясностью впечатлений, я опасался, что Визи, утомленная моей долгой болезнью, не подыметя во время прогулки до уровня моего настроения и, следовательно, нехотя разрушит его. Я вышел один, оставив Визи в недоумении и тревоге.

Херам – очень небольшой город, и я быстро обошел его весь, по круговой улице, наслаждаясь белизной снега и тишиной. Проходящих было немного; я с удовольствием рассматривал их крепкие, спокойные лица провинциалов. У базара, где в плетеных корзинах блестели груды скользких, голубоватых рыб, овощи рдели зеленым, красным, лиловым и розовым бордюром, а развороченные мясные туши добродушно рассказывали о вкусных, ворчащих маслом, бифштексах, я глубокомысленно постоял минут пять в гастрономическом настроении, а затем отправился дальше, думая, как весело жить в этом прекрасном мире. С чувством пылкой признательности вспомнил я некогда ненавистного мне Гуктаса. Не будь Гуктаса, не было бы дуэли, не будь дуэли, я не пролежал бы месяц в беспомощности. Месяц болезни дал

отдохнуть душе. Так думал я, не подозревая истинных причин нынешнего своего состояния.

Необходимо сказать, чтобы не возвращаться к этому, что, в силу поражения мозга, моя мысль отныне удерживалась только на тех явлениях и предметах, какие я вбирал непосредственно пятью чувствами. В равной степени относится это и к моей памяти. Я вспоминал лишь то, что видел и слышал, мог даже припомнить запах чего-либо, слабее – прикосновение, еще слабее – вкус кушанья или напитка. Вспомнить *настроение, мысль* было не в моей власти; вернее, мысли и настроения прошлого скрылись из памяти совершенно бесследно, без намека на тревогу о них.

Итак, я двигался ровным, быстрым шагом, в веселом возбуждении, когда вдруг заметил на другой стороне улицы вывеску с золотыми буквами. «Редакция Маленького Херама» – прочел я и тотчас же завернул туда, желая немедленно написать статью, за что, как я хорошо помнил, мне всегда охотно платили деньги. В комнате, претендующей на стильный, но деловой уют, сидели три человека; один из них, почтительно кланяясь, назвался редактором и в кратких приятных фразах выразил удовольствие по поводу моего выздоровления. Остальные непрерывно улыбались, чем все общество окончательно восхитило меня, и я, хлопнув редактора по плечу, сказал:

– Ничего, ничего, милейший; как видите, все в порядке. Мы чувствуем себя отлично. Однако позвольте мне чернил

и бумаги. Я напишу вам маленькую статью.

– Какая честь! – воскликнул редактор, суетясь около стола и делая остальным сотрудникам знак удалиться. Они вышли. Я сел в кресло и взял перо.

– Я не буду мешать вам, – сказал редактор вопросительным тоном. – Я тоже уйду.

– Прекрасно, – согласился я – Ведь писать статью... вы знаете? Хе-хе-хе!..

– Хе-хе-хе!.. – ослабившись, повторил он и скрылся. Я посмотрел на чистый листок бумаги, не имея ни малейшего понятия о том, что буду писать, однако не испытывая при этом никакого мыслительного напряжения. Мне было по-прежнему весело и покойно. Подумав о своих прежних статьях, я нашел их очень тяжелыми, безрассудными и запутанными – некими старинными хартиями, на мрачном фоне которых появлялись и пропадали тусклые буквы. Душа требовала минимальных усилий. Посмотрев в окно, я увидел снег и тотчас же написал:

СНЕГ

Статья Г. Марка

За время писания, продолжавшегося минут десять, я время от времени посматривал в окно, и у меня получилось сле-

дующее:

«За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие частые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой. Затем пробежала собака, обнюхивая следы, оставленные дамой, и оставляя сбоку первых следов – свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке, он шел по собачьим и дамским следам и спутал их в одну тропинку своими широкими галошами. Синяя тень треугольником лежит на снегу, пересекая тропинку. Г. Марк».

Совершенно довольный, я откинулся на спинку кресла и позвонил. Редактор, войдя стремительно, впился глазами в листок.

– Вот и все, – сказал я. – «Снег». Довольны вы такой штукой?

– Очень оригинально, – заявил он унылым голосом, читая написанное. – Здесь есть *ничто*.

– Прекрасно, – сказал я. – Тогда заплатите мне столько-то. Молча, не глядя на меня, он подал деньги, а я, спрятав их в карман, встал.

– Мне хотелось бы, – тихо заговорил редактор, смотря на меня непроницаемыми, далеко ушедшими за очки глазами, – взять у вас статью на политическую или военную тему.

Наши сотрудники бездарны. Тираж падает.

– Конечно, он падает, – вежливо согласился я. – Сотрудники бездарны. А зачем вам военная или политическая статья?

– Очень нужно, – жалобно процедил он сквозь зубы.

– А я не могу! – Я припомнил, что такое «политическая» статья, но вдруг ужасная лень говорить и думать заявила о себе нетерпеливым желанием уйти. – Прощайте, – сказал я, – прощайте! Всего хорошего!

Я вышел, не обернувшись, почти в ту же минуту забыв и о редакции и о «Снеге». Мне сильно хотелось есть. Немедленно я сел на извозчика, сказал адрес и покатил домой, вспоминая некоторые из ранее съеденных кушаний. Особенно казались мне вкусными мясные колобки с фаршем из овощей. Я забыл их название. Тем временем экипаж подкатил к подъезду, я постучал, и мне открыла не прислуга, а Визи. Она, нервно, радостно улыбаясь, сказала:

– Куда ты исчез, бродяжка? Иди кормиться. Очень ли ты устал?

– Как же не устал? – сказал я, внимательно смотря на нее. Я не поцеловал ее, как обычно. Что-то в ней стесняло меня, а ее делало если не чужой, то *трудной*, – непередаваемое ощущение, сравнимое лишь с обязательной и трудно исполнимой задачей. Я уже не видел ее души, – надолго, как стальная дверь, хранящая прекрасные сокровища, закрылись для меня редкой игрой судьбы необъяснимые прикосновения ду-

ха, явственные даже в молчании. Нечто от прошлого, однако, силилось расправить крылья в пораженном мозгу, но почти в ту же минуту умерло. Такой крошечный диссонанс не испортил моего блаженного состояния; муха, севшая на лоб сотрясаемого хохотом человека, годится сюда в сравнение.

Я видел только, что Визи приятна для зрения, а ее большие дружеские глаза смотрят пытливо. Я разделся. Мы сели за стол, и я бросился на еду, но вдруг вспомнил о мясных шариках.

– Визи, как называются мясные шарики с фаршем?

– «*Тележки*». Их сейчас подадут. Я знаю, что ты их любишь.

От удовольствия я сердечно и громко расхохотался, – так сильно подействовала на меня эта неожиданная радость, серьезная радость настоящей минуты.

Вдруг слезы брызнули из глаз Визи, – без стопа, без резких движений она закрыла лицо салфеткой и отошла, повернувшись спиной ко мне, – к окну. Я очень удивился этому. Ничего не понимая и не чувствуя ничего, кроме неприятности от перерыва в обеде, я спросил:

– Визи, это зачем?

Может быть, случайно тон моего голоса обманул ее. Она быстро подошла ко мне, перестав плакать, но вздрагивая, как озябшая, придвинула стул рядом с моим стулом, и бережно, но крепко обняла меня, прильнув щекою к моей щеке. Теперь я не мог продолжать есть суп, но стеснялся пошеве-

литься. Терпеливо и злобно слушал я быстрые слова Визи:

– Галь, я плачу оттого, что ты так долго, так тяжело страдал; ты был без сознания, на волоске от смерти, и я вспомнила весь свой страх, долгий страх целого месяца. Я вспомнила, как ты рассказывал мне про маленького лунного жителя. Ты мне доказывал, что есть такой... и описал подробно: толстенький, на голове пух, два вершка ростом... и кашляет... О Галь, я думала, что никогда больше ты не расскажешь мне ничего такого! Зачем ты сердисься на меня? Ты хочешь вернуться? Но ведь в Хераме тихо и хорошо. Галь! Что с тобой?

Я тихо освободился от рук Визи. Положительно женщина эта держала меня в странном и злостном недоумении.

– Лунный житель – сказка, – внушительно пояснил я. Затем думал, думал и наконец догадался: «Визи думает, что я себя плохо чувствую». – Эх, Визи, – сказал я, – мне теперь так славно живется, как никогда! Я написал статейку, деньги получил! Вот деньги!

– О чем статью и куда?

Я сказал – куда и прибавил: «О снеге».

Визи доверчиво кивнула. Вероятно, она ждала, что я заговорю, как раньше, – серьезно и дружески. Но здесь прислуга внесла «тележки», и я ревностно принялся за них. Мы молчали. Визи не ела; подымая глаза, я встречался с ее нервно-спокойным взглядом, от которого мне, как от допроса, хотелось скрыться. Я был совершенно равнодушен к ее при-

сутствию. Казалось, ничто было не в силах нарушить мое безграничное счастливое равновесие. Слезы и тоска Визи лишь на мгновение коснулись его и только затем, чтобы сделать более нерушимым – силой контраста – то непередаваемое довольство, в какое погруженный по уши сидел я за сверкающим белым столом перед ароматически дымящимися кушаньями, в комнате высокой, светлой и теплой, как нагретая у отмели солнцем вода. Кончив есть, я посмотрел на Визи, снова нашел ее приятной для зрения, затем встал и поцеловал в губы так, как целует нетерпеливый муж. Она просияла (я видел, *каким* светом блеснули ее глаза), но, встав, подошла к столику и, шутливо подняв над головой склянку с лекарством (которое я изредка еще принимал), лукаво произнесла:

– Две ложки после обеда. Мы в разводе, Галь, еще на полтора месяца.

– Ах так? – сказал я. – Но я не хочу лекарства.

– А для меня?

– Чего там! Я ведь здоров! – Вдруг, посмотрев в окно, я увидел быстро бегущего мальчика с румяным, задорным лицом и тотчас же загорелся неодолимым желанием ходить, смотреть, слушать и нюхать. – Я пойду, – сказал я, – до свидания пока, Визи!

– О, нет! – решительно сказала она, беря меня за руку. – Тем более, что ты так *непривычно* желаешь этого!

Я вырвался, надел шубу и шапку. Мое веселое, резкое со-

противление поразило Визи, но она не плакала более. Ее лицо выражало скорбь и растерянность. Глядя на нее, я подумал, что она просто упряма. Я подарил ей один из тех коротких пустых взглядов, каким говорят без слов о нудности текущей минуты, повернулся и увидел себя в зеркале. Какое лицо! В третий раз смотрел я на него после болезни и в третий раз радостно удивлялся, – мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни серое – лицо, как взбитая, приглаженная подушка. Итак, по-видимому, я перенес *представление о своем воображенном лице* на отражение в зеркале, видя не то, *что есть*. Над левой бровью, несколько стянув кожу, пылал красный, формой в виде боба, шрам, – этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным. Затем я вышел, сильно хлопнув в знак власти дверью, и очутился на улице.

IV

Не знаю, сколько времени и по каким местам я бродил, где останавливался и что делал; этого я не помню. Стемнело. Как бы проснувшись, услышал я тяжелый, из глубины души, трудный и долгий вздох; на углу, прислонясь к темной под ярким окном стене, стоял человек без шапки, одетый скудно и грязно. Он вздыхал, посылая пространству тяжкие, полные бесконечной скорби, вздохи-стоны-рыдания. Лица его я не видел. Наконец он сказал с мрачной и трогательной силой отчаяния: «Боже мой! Боже мой!» Я никогда не забуду тона, каким произнеслись эти слова. Мне стало не по себе. Я чувствовал, что еще вздох, еще мгновение – и мое благостное равновесие духа перейдет в пронзительный нервный крик.

Поспешно я отошел, оставив вздыхающего человека наедине с его тайным горем, и тронулся к центру города. «Боже мой! Боже мой!» – машинально повторил я, этот маленький инцидент оставил скверный осадок – тень раздражения или тревоги. Но совсем спокойно чувствовал я себя. Между тем темнота сплотилась полной силой глухой зимней ночи, прохожие попадались реже и шли быстрее. В редких фонарях монотонно шипел газ, и я невольно прибавил шагу, стремясь к блистающим площадям центра. Один фасад, слабо озаренный стоящим в отдалении фонарем, заставил меня остановиться и внимательно осмотреть его. Меня пора-

зило обилие сухих виноградных стеблей, поднимавшихся от земли по белому фону простенков к балконам и окнам первого этажа; сеть черных кривых линий зловеще обсасывала фасад, словно тысячи трещин. Одно из окон второго этажа было полуосвещено, свет мелькал в его глубине, и в светлых неясных отблесках за стеклом рамы виднелся едва различимый, бледный, под изгибом черных волос, женский профиль. Я не мог рассмотреть его благодаря, как сказано, неверному и слабому освещению, но почему-то упорно всматривался. Профиль намечался попеременно прекрасным и отвратительным, уродливым и божественным, злым и весенне-ясным, энергичным и мягким. Придушенные стеклом, слышались ленивые звуки скрипки. Смычок выводил неизвестную, но плавную и красивую мелодию. Вдруг окно осветилось полным блеском невидимого огня, и я при низких, нежно и горделиво стихающих аккордах увидел голову пожилой женщины, с крепкой, сильно выдающейся нижней челюстью; черные глаза под нахмуренным низким лбом смотрели на какое-то проворно перебираемое руками шитье. Весь этот странный узел зрительных и слуховых впечатлений вызвал у меня в то же мгновение такой острый, черный прилив тоски, стеснившей сердце до боли, что я, с глазами полными слез, машинально отошел в сторону. Звуки скрипки казались самыми дорогими и печальными в мире. Я длил тоску в смутном ожидании чуда, как будто ради нее некий мертвенно-мрачный занавес должен был распахнуться ши-

роким кругом, обнажив зрелище повелительной и несравненной гармонии... Это был первый припадок тоски. Наконец она стала невыносимо резкой. Увидев пылающий фонарями трактир, я вошел, выпил залпом у стойки несколько стаканов вина и сел в углу, повеселев и став опять грубее и проще, как час назад.

Рассматривая присутствующих, покуривая и внутренне веселясь в ожидании целого ряда каких-то прелестей, освеженный и согретый вином, я обратил внимание на вертлявоглазое, хитрое лицо старика, сидевшего неподалеку в обществе плохо одетой, смуглой и полной женщины. Ее напудренное лицо с влажными, черными глазами и ртом ненормально красным было совсем некрасиво, однако ее упорный взгляд, обращенный ко мне, был взглядом уверенной в себе женщины, и я кивнул ей, рассчитывая поболтать за бутылкой. Старик, драный как облезшая кошка, тотчас же встал и пересел к моему столику.

– Вино-то... – сказал он так льстиво, словно поцеловал руку, – вино какое пьете? Дорогое винцо, хорошее, ха-ха-ха! Старичку бы дать! – И он потер руки.

– Пейте, – сказал я, наливая ему в стакан, поданный служгой с бешеной торопливостью, не иначе, как из уважения ко мне, барину. – Как вас зовут, старик, и кто вы такой?

Он жадно выпил, перемигнувшись через плечо со своей дамой.

– Я, должен вам сказать, питаюсь услугами, – сказал ста-

рик, подмигивая мне весьма фамильярно и плутовато. – Прислуживаю я каждому, кто платит, и прислуживаю охотнее всего по веселеньким таким, остропикантным делам. Понимаете?

– Все понимаю, – сказал я, пьянея и наваливаясь на стол. – Служите мне.

– А вы чего хотите?

Я посмотрел на неопределенно улыбающуюся за соседним столом женщину. Спутница старика, в синем с желтыми отворотами платье и красной накидке, была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней.

– Пригласите вашу даму пересесть к нам.

– Дама замечательная! Первый сорт! – радостно закричал старик и, обернувшись, взвизгнул на весь зал: – Полина! Переваливайтесь сюда к нам, да живо!

Она подошла, села, и я, пока не пришла кошка, не сводил более с нее глаз. От ее круглой статной шеи, полных с маленькими кистями рук, груди и пухлых висков разило чувственностью. Я жадно смотрел на нее, она присматривалась ко мне, молчала и улыбалась особенной улыбкой. Старик, воодушевляясь время от времени, по мере того как слуга ставил нам свежие винные бутылки, держал короткие, но жаркие речи о необыкновенных достоинствах Полины или о своем прошлом богатстве, которого, смею думать, у него никогда не было. Я охмелел. Грязный, горластый сброд, шумевший за столиками, казался мне обществом живописных ги-

гантов, празднующих великолепии жизни. Море разноцветного света заполняло трактир. Я взял руки Полины, крепко сжал их и заявил о своей страсти, получив в ответ взгляд более чем многообещающий. Старик уже встал, застегиваясь и обматывая шею цветным шарфом. Я знал, что поеду куда-то с ним, и стал громко стучать, требуя счет.

В эту минуту маленькая, больная и худая как щепка, серенькая трактирная кошка нерешительно подошла ко мне, робко осмотрела мои колени и, тихо прыгнув, уселась на них, подняв торчком жалкий, облезлый хвост. Она терлась о мой рукав и подобострастно громко мурлыкала, требуя, видимо, внимания к своей жизни, заинтересованной в моих развлечениях. Я смотрел на нее со страхом и внезапной слабостью сердца, чувствуя, что уступаю новой волне тоски, отхлынувшей временно благодаря бутылке и женщине. Все кончилось. Потух пьяный огонь, – горькое, необъяснимое отчаяние сразило меня, и я, опять силясь, но тщетно, припомнить что-то неподвластное памяти, бросил деньги на стол, ударил старика по его испуганно цепляющимся за меня рукам, вышел и поехал домой.

Холод, плавный бег саней и тишина улиц постепенно истребили тоску. В весьма благосклонном, ровном и мирном настроении я позвонил у занесенных снегом дверей; мне открыла снова Визи, но, открыв, тотчас же ушла в комнаты. Я разыскал ее у камина, в маленьком мягком кресле, с книгой в руках, и сел рядом. Я очень хорошо знал, что я нетрезв

и взъерошен, однако совсем не хотел скрывать этого. Визи внимательно, без улыбки смотрела на меня, сказала тихо:

– Сегодня заходил доктор и очень тепло справлялся о тебе. Он хочет бывать у нас, – он просил разрешить ему это. Как ты думаешь? Тебе, кажется, скучно, а такой собеседник, как доктор, незаменим.

– Доктора – ученые люди, – пробормотал я, – а мне, Визи, очень надоели сложные разговоры. Превыспренные! Аналитические! Ну их, в самом деле! Я человек простой и добродушный. Чего там рассуждать? Живется – и живи себе на здоровье.

Визи не отвечала. Она задумчиво смотрела на раскаленные угли и, встрепенувшись, ласково улыбнулась мне.

– Я не скрою... Меня несколько пугает резкая перемена в тебе после болезни!

– Вот глупости! – сказал я. – Ты говоришь самые неподходящие глупости! Изменился! Да, очень вероятно!.. Боже, мой! Неужели ты, Визи, *завидуешь* мне?

– Галь, что ты? – испуганно воскликнула Визи. – Зачем это?

– Нет, – продолжал я, усматривая в словах Визи завистливую и ревнивую придирчивость, – когда человек чувствует себя хорошо, другим это всегда мешает. Да пусть бы все так изменились, как я! Хоть и смутно, но понимаю же я наконец, каким я был до болезни, до этой замечательной раны, нанесенной Гуктасом. Все меня волновало, тревожило, заставля-

ло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная, – что за ужасное время! Фу! Каким можно быть дураком! Все очень просто, Визи, не над чем тут раздумывать.

– Объясни, – спокойно, сказала Визи, – может быть, я тоже пойму. Что просто и – в чем?

– Да все. Все, что видишь, такое и есть. – Помолчав, я с некоторым трудом подыскал пример, по-моему убедительный: – Вот ты, Визи, сидишь передо мной и смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Она закрыла лицо руками, видимо, обдумывая мои слова. С торжеством, с безжалостной самоуверенностью я ждал возражений, но Визи, открыв лицо, вдруг спросила:

– Что думаешь ты об этом месте, Галь? Это твой любимец. Конфор. Слушай, слушай! «День проходит в горьких заботах о хлебе, ночь в прекрасных золотых сновидениях. Зато днем ярко горит солнце, а ночью, проснувшись, я побежден тьмой и ужасом тишины. Блажен тот, кто думает только о солнце и сновидениях».

– Очень плохо, – решительно сказал я. – Каждому разрешается помнить все что угодно. Автор положительно невежлив к читателю. А во-вторых, я несколько пьян и хочу спать. Прощай, Визи, спокойной ночи.

– Спокойной ночи, милый, – рассеянно сказала она, – завтра ты будешь работать?

– Бу-ду, – нерешительно сказал я. – Хотя, знаешь, о чем писать? Все ведь избито. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! – медленно повторила Визи.

Уходя, я обернулся на особый оттенок голоса и поймал выражение нескрываемого, тоскливого страха в ее возбужденном лице. Мы встретились взглядами. Визи поторопилась улыбнуться, как всегда, нежно кивнув. Я ушел в спальню, разделся и лег с стесненной душой, но с задней лукавой мыслью о том, что Визи из простого упрямства не хочет понять меня.

V

Так повторилось раз, два, три – десять; причинами внезапной тоски служили, как я заметил, также разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию «тоска», что я не мог избежать их. Чаще всего это была музыка, безразлично какая и где услышанная, – торжественная или бравурная, веселая или грустная – безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью о невспоминаемом, о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу – истребителю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность.

Я стал определенно и нескрываяемо равнодушен к Визи. Ее все более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней, как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были наши разговоры и встречи, – именно встречи, так как я не бывал дома по два и по три дня, ночуя у случайных знакомых, которых развелось изобилие. То были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники... Казалось, все профессии участвовали в моих скитаниях по Хераму в

дни описанного выше безысходного тоскливого состояния. Мне нравился разговор этих людей: простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и надрыва, он предлагал вниманию факты в безусловном, так сказать, арифметическом их значении: «раз, два... четыре, одиннадцать, – случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». Я радостно перевел бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведенных выше, не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка, законченности всего, стало, за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.

Доктор, против ожидания моего, появился-таки в нашей квартире, он был расторопен и вежлив, весел и оживлен. Он сделал мне множество предложений, как хитрый медик – замаскированно медицинского свойства: прогулку на раскопки, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке, наконец, предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и беседами на религиозные темы; я слушал его внимательно, промолчал на все это и попрощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визи:

– От чего хочешь ты меня лечить?

– Я хочу только, чтобы ты не скучал, – глухо произнесла она таким усталым, невольно сказавшим более, чем хотела, голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось

мгновение. Я звонко расхохотался.

– Ты, ты не скучай, Визи! – сказал я. – А мне скучно не может быть, слышишь? Я, право, не узнаю себя. Какое веселье, какая скука? Нет у меня ни этого, ни другого. Ну, и просто – я всем доволен! Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить, Визи.

– Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого – знаешь? – хочется тихо петь или, улыбаясь, молчать... Наш разговор оборвался... мы вели его словами и сердцем...

– Мне странно слышать это, – сказал я, – быть может, ранее чрезмерная возбудимость...

Но я не закончил. Я хотел добавить «...нравилась тебе» – и вдруг, как прихлопнутый глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке завернуть в прошлое.

– Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз, – трусливо сказал я, – меня расстраивают эти разговоры. – Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадежно и безрезультатно напрягли мою душу, она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал.

– Уходи, если хочешь, – печально сказала Визи, – я лягу спать.

– Вот именно, я хотел прогуляться, – заявил я, быстро беря шляпу и целуя ее руку с тайной благодарностью. – Но я скоро вернусь.

– Скоро?.. А «Метеор» снова просит статью.

Я улыбнулся и вышел. Давно уже когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погрузившись в тишину теплого, *сытого* вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал. Но, конечно, это я шел *с сытой* душой, и шел в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую, торжественно высящуюся звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и через некоторое время сидел уже в дымном воздухе «Веселенького гусара», слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом.

VI

Зима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-белых обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью. Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще, иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалеким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи, я видел ее как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать ее голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чем хотел говорить я, то есть о незамысловатых и маловажных вещах.

Был поздний вечер, когда в трактир «Веселенького гусара» посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: «Г. Марку от Визи». Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным любопытством *зрителя*, как если бы присутствовал при чтении письма человеком посторонним мне — другому, тоже постороннему. Некоторое время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбуж-

денным взглядом; преодолев это неудобство, я прочитал:

«Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменялся, какими чужими и далекими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернется, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот, прежний, внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой! Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой. Но жить так дальше, прости меня, – не могу! Я подробно написала о всем издателю „Метеора“, он обещал назначить тебе жалованье, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова начать работать. Прощай. Я уезжаю; прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.

Визи».

– «Визи», – повторил я вслух, складывая письмо. В этот момент, роняя прыгающий мотив среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наемного музыканта, обслуживавшего компанию кочегаров, и я заметил, что музыка *подчеркивает* письмо, делая трактир и его посетителей *своими*, отдельными от меня и письма; я стал одинок и, как бы не вставая еще с места, вышел уже из этого помещения.

Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, осилить которое было мне еще не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там, – тишины и отсутствия Визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему, я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некие разъяснения случившегося. Содержание письма, логически вполне ясное, – внутренне отвергалось мной, в силу того что я не мог представить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего ярко горестного, такого, что сразу потрясло бы меня, однако сердце билось сильнее и путь к дому показался не близким.

Я позвонил. Открыла прислуга, меланхолическая, пожилая женщина; глаза ее остановились на мне с каменной осторожностью.

– Барыня дома? – спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов и видел, что шляпы и пальто Визи нет.

– Они уехали, – тихо сказала женщина, – уехали в восемь часов. Вам подать ужин?

– Нет, – сказал я, направляясь к темному кабинету, и, постояв там во тьме у блестящего уличным фонарем окна, зажег свечу, затем перечитал письмо и сел, думая о Визи. Она представилась мне едущей в вагоне, в паровой каюте, в

карете – удаляющейся от меня по прямой линии; она сидела, я видел только ее затылок и спину и даже, хотя слабо, линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял ее голову, пытаюсь повернуть к себе; воображение отказывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел ее лица. Тоскливое желание заглянуть в ее лицо некоторое время не давало мне покоя, затем, устав, я склонился над столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений.

Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то, упавшего к ногам, не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то, имеющее, быть может, отношение к Визи, – неопределенный поступок, вытекающий скорее из потребности действия, чем из оснований разумных.

В ящике я нашел много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы: сломанные карандаши, палочки сургуча, несколько разрозненных запонок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанную шнурком. То были статьи из «Вестника» и «Метеора» за прошлый год. Я развязал пачку, повинувшись окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем, имеющим отношение к Визи. Статьи эти вырезывала и собирала она, на случай, если бы я захотел издать их

отдельной книгой.

Я развязал пачку, просматривая заглавия, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь, и даже, приблизительно, скелетное содержание статей, но далекий от восстановления, так сказать, *атмосферы сознания*, характера настроения, облакавших работу. От заглавий я перешел к тексту, пробегая его с равнодушным недоумением, – все написанное казалось отражением чуждого ума, и отражением бесцельным, так как вопросы, трактованные здесь, как то: война, религия, критика, театр и т. д., – трогали меня не больше, чем снег, выпавший примерно в Австралии.

Так, просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную: «Ценность страдания», статью, написанную приемом сильных контрастов и в свое время наделавшую немало шума. В противность прежде прочтенному, некоторые выражения этой статьи остановили мое внимание, в особенности одно: «Люди с так называемой „душой нараспашку“ лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания; не задерживаясь, без тонкой силы внутреннего напряжения, врываются в их душу и без остатка покидают ее те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать ценным и глубоким переживанием». Я прочитал это два раза, томясь вспомнить, какое, в связи с Визи, обстоятельство родило эту фразу, и с неожиданной внутренне толкнувшей отчетливостью вспомнил! – так ясно, так проникновенно и жадно, что встал в волнении чрез-

вычайном, почти болезненном. Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищенное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности и, конечно, никак уже не выразимого словами, *приниженного* экстаза. Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень, бескрайне полон ею и своим сжатым волнением. После того я написал вышеприведенное рассуждение.

Я вспомнил это живо – и сердцем, а не механически, мне не сиделось, я прошелся по кабинету, в углу лежал скомканный лист бумаги, я поднял его, развернул и с изумлением, чуждым еще догадкам, увидел, что лист, не вполне дописанный красивым, мелким почерком Визи, был не чем иным, как неоконченной, но разработанной уже в значительной степени *моей* статьей, с заголовком: «Ртутные рудники Херама», статья Г. Марка. *Я никогда* не писал этой статьи и не диктовал ее никому, *я ничего* не писал. Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и, как аромат цвет-

ка, свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например: «совсем просто», «замечательно хорошие», «как взглянуть» – делали написанное прекрасной работой. «Статья Г. Марка», – снова прочел я... и стало мне в невольных, неудержимых, тяжких слезах спасительно-резкой скорби ясным все.

Я сидел неподвижно, пытаюсь овладеть положением. «Я никогда больше не увижу ее», – сказал я, проникаясь, под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову «никогда». Оно выражало запрет, тайну, насилие и тысячу причин своего появления. Весь «я» был собран в этом одном слове. Я сам, своей жизнью вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а Визи оставалось только произнести его письменно, чтобы, вспыхнув черным огнем, стало оно моим законом, и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка, – механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету; вспоминая скорее ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что «никогда» смеется даже над бесконечностью.

Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, сгоряча еще не очень чувствительного, но отраженного в инстинкте стра-

хом и возмущением. Я хотел видеть Визи, и видеть возможно скорее, чтобы ее присутствием ощупать свою рану, но это черное «никогда» поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на не оконченную Визи статью. Мучительное представление об ее тайной, тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвление было ярким до нестерпимости. Я вспомнил ее улыбку, походку, голос, движения, наклон головы, ее фигуру в свете и в сумерках, – во всем этом, так драгоценном теперь, не сквозило никогда даже намек на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как! И с какими надеждами! – с меньшими, чем у смертельно больного, еще дышащего, но думающего только о смерти.

Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя, *как прежде*: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений, со всем ее оглушительным эхом в далях сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь от *сна*. Я встал с единственным, неотложным решением отыскать Визи, спокойно зная, что отныне, с этого мгновения увидеть ее становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я получил его, приняв *такое* решение, но спокойствие подобного рода охотно променял бы на любую унижительнейшую из пыток.

Белое, еще бессолнечное утро открыло за бледно-голубым окном пустую, тихую улицу. Я вышел, направляясь к озер-

ной пристани. Я хотел верить, что Визи предварительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этот город, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне адрес, – я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле.

Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз», тот самый, который увозил нас в прошлом году в Херам. Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус, трубу в белых кольцах, мачты и рубку, – он был для меня живым *третьим*, помнившим присутствие Визи и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием.

На пристани почти никого не было, – бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный сор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул в прибитое к стене расписание: «Приз» отходил в десять часов утра, а перед этим, вчера, вышел тем же рейсом «Бабун», в одиннадцать сорок минут вечера. Только «Бабун» мог увезти Визи. Это немного развеселило меня; нас разделяло часов двенадцать пути, – срок, за который Визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал

этот вопрос и с горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня, все поведение мое должно было убедить ее в том, что я вздохну облегченно, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть Визи врасплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая события, я вызывал болезненно напряженной душой призраки и голоса встречи, варьируя их в множестве оттенков и положений, и, мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения.

Когда солнце поднялось выше и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, вспахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши Херама с чувством неудовлетворенного любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нем не жил; так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и неуловимых ограниченным, скольльзящим вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где против воли, совершенно измученный событиями прошедшей ночи, я заснул. Проснулся я в темноте, тревоге и ропоте монотонно шумливых волн, поплескивающих о борт. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма – делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу.

По-видимому, был глухой, поздний час ночи, так как в

пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера, силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокотившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться; я подошел и сказал негромко, в тон глухой ночи:

– Если вам тоже, как и мне, не спится, сударыня, поговорим о чем-нибудь полчаса. Обычное право путешественников...

Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи... Ни верить этому, ни отрицать этого я не смел в первое мгновение, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же, отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог еще произнести ни слова, ни звука и стоял молча, совершенно расколотый неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только:

– Это ты, Визи?

– Я, милый, – устало произнесла она.

– О Визи... – начал я было, но слезы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах. – Я ведь опять тот, – выговорил я наконец с чрезвычайным усилием, – тот, и искал тебя! Посмотри на меня ближе, побудь со мной хоть месяц, неделю, один день.

Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал:

– Я очень жалею, что опоздала на вечерний пароход и что мы здесь встретились... Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне! Уйдем друг от друга.

– Хорошо, – сказал я, холодея от ее слов, – но выслушай меня раньше. Только это!

– Говори... если можешь...

В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели.

Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время непохожей на меня, жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нервной силы подобно свистящему в бешеных руках мечу разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду – до конца дней.

1915 г.